

ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 150

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

ДВЕ ЛЮБВИ

Размышления о рассказе
«После бала»

19 АПРЕЛЯ 1846 года в актовом зале Казанского университета были устроены «живые картины» в пользу двух бедных воспитанниц Родионово-женского института. В одной из них участвовали студент Казанского университета Сергей Николаевич Толстой и дочь военачальника Варенька Корейш.

История короткого, но сильно-го чувства Сергея Николаевича к В. А. Корейш легла в основу сюжета рассказа.

Если сюжетная линия рассказа была продиктована воспоминанием о любовной истории брата, то эмоциональная наполненность содержания, несомненно, является собственным переживанием писателя. И мы располагаем свидетельством самого Льва Николаевича.

24 ноября 1903 года (год написания рассказа), отвечая П. И. Бирюкову на вопрос о своих «любях», Л. Н. Толстой, упоминая о самом сильном первом детском чувстве к Сонечке Колошиной, продолжал: «Потом, пожалуй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это».

Дочь казанского помещика, подруга сестры писателя, Марии Николаевны, Зинаида Молостова часто бывала в доме Толстых, где ее любили за живой, пылкий ум, столь гармонично сочетавшийся с какой-то особой, одухотворенной красотой. Вспоминая о Молостовой спустя несколько лет, Лев Николаевич записал в своем дневнике: «Мне кажется, что... незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время».

Пройдет много лет, и воспоминание выйдет в удивительный рассказ.

В рассказе «После бала» две идейно-эмоциональные линии, контрастные, но в то же время тесно сплетенные между собой. Первая линия — чистая, возвышенная любовь, ее «незнание», ее прелесть.

Вторую идейно-эмоциональную линию рассказа составило «звериное лицо» эпохи, оборотная сторона сияющей медали.

Итак, два увлечения, две любви составили сюжетную основу рассказа «После бала». Две юные красавицы — Зинаида Молостова и Варвара Корейш — послужили прототипом Вареньки Б. Почему же только в 1903 году, спустя пятьдесят с лишним лет, Лев Николаевич обратился к воспоминанию, которое считал одним из лучших в своей жизни?

Попытаемся проследить намеченную нами первую линию, начиная с 1846 года — года увлечения братьями Толстыми В. Корейш и З. Молостовой — до «воплощения» этого чувства в рассказе «После бала», написанном в Ясной Поляне в августе 1903 года.

В архиве Льва Николаевича сохранилась подробная афиша «живых картин», разыгрывавших-

ся в Казанском университете. Писатель и сам был их участником и свидетелем увлечения брата (однако свидетелем финала Лев Николаевич не был). Мы снова возвращаемся к казанскому периоду с той лишь целью, чтобы еще раз подчеркнуть: увлечение Сергея Николаевича Варенькой Корейш (впоследствии — по мужу Хвощинской) — как момент семейно-биографический — привлекло писателя. К тому же именно в это время он и сам был влюблен, переживал счастливейшие часы, воспоминания о которых, пронесенные через полвека, и послужили основой рассказа, столь причудливо соединившись в восприятии писателя с трагическим переживанием брата, Сергея Николаевича.

И то, что история брата была как бы «пропущена» писателем через нерв пережитого самим, через нерв выстраданного философского осмысления времени, помогает нам постигнуть не просто трагизм ситуации, но и главную мысль Толстого: высшее счастье, любовное блаженство есть лишь зыбкая тень в этом жестоком мире.

В 1853 году Толстой впервые вернется к казанскому воспоминанию: герой рассказа «Святоточная ночь» Сережа Ивин переживает чувство, родственное тому, с которым мы встречаемся в «После бала». 18 октября 1853 года Толстой записывает в своем дневнике, что увидел себя во сне в том состоянии души, когда бываешь влюблен. Это еще то первое, робкое движение сердца, когда бываешь «счастливым, блаженным, добрым... какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро» («После бала»).

Позже, в 1899 году, в своем последнем романе «Воскресение» Л. Толстой высказывает меткое наблюдение, к которому он пришел в результате собственного опыта: «В любви между мужчиной и женщиной бывает всег-

да одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и ничего чувственного».

Таким образом, сначала ощущение (дневниковые записи о Зинаиде Молостовой), затем как бы «со стороны» подсмотрев (Сережа Ивин в «Святоточной ночи»), Толстой в конце концов сам высказывает свое определение карловской «любви в бронзовых одеждах» («Воскресение»). И только после этого сложный сплав воспоминаний собственных, воспоминаний о любви брата, «отстраненность» от пережитого чувства, наконец, ощущение, проведенное через мысль, подарит нам легкое, свежее и чистое чувство: «Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью... И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья».

Казалось бы, такое обычное для влюбленного состояние: боязнь спугнуть счастье, боязнь чего-то ужасного, трагического, могущего разрушить светлое чувство... Но у Толстого это ощущение окрашено тревогой вполне определенной.

«Около 40-х годов, — писал Герцен, — жизнь из-под туго прижатых клапанов стала сильно прорываться. Во всей России прошла еле уловимая перемена, та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и понимания, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись — другой тон. Где-то внутри в нравственно-микрокосмическом мире повеял иной воздух, более раздражительный, но и более здоровый, наружно все было мертвое, под льдом, но что-то пробудилось в сознании, в совести — какое-то чувство неловкости, неудовольствия; ужас притупился, людям надоело в полумраке темного царства».

Передовая мысль «расправляла крылья», но не только этим можно охарактеризовать эпоху 40-х годов. Реакция не сдавалась, продолжала отстаивать свои позиции, раскрывая звериную сущность времени. И таинственное «что-то», могущее отравить счастье первой любви героя «После бала», обернулось именно жестокой действительностью.

Конкретность врывается в мир счастливых грез героя: «Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка».

II

Лев Николаевич Толстой никогда не видел собственными

глазами расправу над солдатом, подвергнутым варварскому истязанию. Но если судьба уберегла его от кровавого зрелища, она не могла уберечь его от знания.

«Кто может сказать, ведь, возможно, именно тогда, в Казани, услышав от Сергея Николаевича о Корейше, писатель впервые усомнился в справедливости мироустройства, впервые обратился мыслью и чувством к простому человеку с его страданиями, переживаниями?.. Во всяком случае, всего несколько лет спустя появились первые из «Севастопольских рассказов», где перед нами предстала великая нравственная сила народа, где подлинными героями стали русские солдаты, так незаметно, без громких и пышных фраз жертвующие жизнью».

В критике того времени отмечалось, что своими рассказами Толстой открыл перед читателем совершенно новый мир, он положил начало подлинно реалистическому изображению простого солдата — его психологии, его беспредельного мужества, всей его жизни. Здесь, однако, необходимо уточнить: литература натуральной школы впервые устремилась к исследованию мира маленького человека со всем комплексом его переживаний и размышлений. Но пушкинская, а затем и гоголевская концепция изображения маленького человека претерпела к концу 40-х — началу 50-х годов XIX века некоторую вполне закономерную эволюцию; в творчестве Толстого — перед нами уже не чиновник, не разночинец, а именно солдат (а это очень важно!), человек, защищающий свое отечество, сознательно жертвующий своей жизнью».

И можно предположить, что казанский период не прошел для писателя бесследно, что к судьбе неизвестного ему татарина, пытавшегося бежать, Толстой мысленно возвращался и тогда, когда писал свои «Севастопольские рассказы», и тогда, когда в 1886 году вспомнил об Андрее Петровиче Корейше в памфлете «Николай Палкин»...

К этому кошмарному видению, испытанному героем «После бала», приравняются картины мучений солдат в черновых набросках к «Хаджи-Мурату».

Варварское истязание человека, унижение его достоинства и вместе с тем душевное пробуждение героя, приобщающее его к миру действительности, составило идейно-эмоциональный центр второй линии рассказа «После бала».

«Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружью двух солдат, которые вели его... Дергаясь всем телом, шлепая ногами по галюму снегу, наказываемый, под сыпавшимися на него с обеих сторон ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая

от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец...»

Цитата эта принадлежит к такому роду повествований, которые невозможно обрывать: хочется продолжать и продолжать бесконечно... За этими строками — потрясение, выстраданность, величайшей силы обобщение эпохи. «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», — думает герой рассказа о полковнике. И мысль его поразительно точна: полковник знает обе стороны медали жизни, и не просто знает: своими мыслями, своими чувствами творит он эти стороны. Когда он танцует с дочерью мазурку, он так же предельно откровенен, так же естествен, как и на поле во время истязания солдата.

В 1906 году в рассказе «За что?» Толстой снова вернется к николаевской эпохе, к тридцатым — сороковым годам XIX столетия. И кровавое зрелище надругательства над человеческой личностью столь же причудливо, как и в предыдущем рассказе, переплетенное с историей первой любви Альбины, сквозным мотивом пройдет через повествование.

Впервые об этом расскажет Росоловский, сосланный в Уралск: расправа чинится не над солдатами, а над польскими офицерами-заговорщиками. «Я зашмырнул. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили, одних замертв, других еле живыми, и мы все должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов...»

Именно этот рассказ Росоловского заставит Альбину принять решение о немедленном побеге, от этого бежит она, пытается спасти своего мужа, но в конце рассказа Мигурский, выданный казаком, приговорен к «прогнанию» сквозь тысячу палок. Вечное поселение в Сибири — вот финал этого трагического рассказа, примыкающего по мысли и эмоциональному содержанию к «После бала»...

III

Небольшой рассказ, написанный на закате жизни Л. Н. Толстого, «После бала» вместил в себя размышления великого писателя о жестокости эпохи, о первой любви, о музыке — об их слиянии, взаимопроникновении, о той контрастности, которая заложена в их противопоставлении.

Небольшой эпизод — «живые картины», разыгрывавшиеся в Казанском университете в апреле 1846 года. Сколько чувств, сколько мыслей должно было возникнуть, окрепнуть, сохраниться в своей свежести, чтобы пятьдесят семь лет спустя потрясти читателя, чтобы спустя столько лет после написания потрясти нас, тех, кто говорит сегодня: «Наш современник Лев Толстой»...



В. ГИЛЬБЕРТ. «Бал».



Е. ЛАНСЕРЕ. «Сквозь строй».